



ОЛЬГА КУЧКИНА
мальчики+девочки=
повести, рассказы, письма

Ольга Кучкина

Мальчики + девочки =

«WebKniga»

Кучкина О. А.

Мальчики + девочки = / О. А. Кучкина — «WebKniga»,

Мы увидим все небо в алмазах, обещал нам Чехов. И еще он обещал, что через двести, триста лет жизнь на земле будет невыразимо прекрасной, изумительной. Прошло сто. Стала ли она невыразимо прекраснее? И что у нас там с небесными алмазами? У Чехова есть рассказ «Мальчики». К нему отсылает автор повести «Мальчики + девочки =» своих читателей, чтобы взглядеться, вчувствоваться, вдуматься в те изменения, что произошли в нас и с нами. «Мальчики...» – детектив в форме исповеди подростка. Про жизнь. Про любовь и смерть. Искренность и в то же время внутренняя жесткость письма, при всей его легкости, делает повесть и рассказы Ольги Кучкиной манким чтением. Электронные письма приоткрывают реальную жизнь автора как составную часть литературы.

Содержание

МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =	5
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Ольга Кучкина

Мальчики + девочки =

Повесть, рассказы, письма

МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =

Мы увидим все небо в алмазах.
А. П. Чехов. «Дядя Ваня»

*Добывать же себе пропитание
можно охотой и грабежами.*
А. П. Чехов. «Мальчики»

Черно-белый снег. Местами больше черный. Местами больше белый.

Всклопоченное маленькое солнце бликует на белых снегах, как на стразах. Блеск, шум, вонь и копоть. Но если подпрыгнуть повыше, можно ухватить ртом и носом чистейшего морозного воздуха.

Соня напрыгалась.

Я не такой слабак. Сколько раз подпрыгивал и хватал, и хоть бы хны.

– Король явился! – прозвенело хрусталем, оставшимся от матери, из оставшегося материна буфета позапрошлого века.

Или сосулькой, блестящей и прозрачной, как на магазине «Армения». Звук – и сразу картинка в башке.

Сравнения замучили. Сами лезут, как воры в окошко. Интересно, где такие дырки в башке, что они туда проникают?

Мороз, как наждаком, натер уши, щеки и лбы докрасна. Пылают, как сковородка. Пар изо рта, как дым. У всех вырывается с дыханием. У Катьки – со смешком. Ну, явился и явился, чего звенеть-то?

Моторы взревели с натугой. Машинки рванули. Из глушителей, как из глоток, только что слабо дымились, а тут сплошняком поперло, туману морозного напудило на весь Тверской бульвар.

Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана.

Из тумана вышел Чечевицын.

В последнюю секунду, как ужас скользкий, вывернется и просклизнет между машинками. А пальцами двумя голыми, красными, ровно сосиски мороженые, сжимает тонюсенькую, в три листика, пачечку сторублевок. Вверх поднял пальчики гордо. Как V, если б растопырил. Но из растопыренных бумажки унесет угарным потоком. Так что держит вместе крепко, как склеенные.

Чечевицын – южный человек, а в самый лютый мороз без шапки. Почему южный, мы не знаем. Чернявый, кудрявый, белки не чисто белые, как у людей, а такие охристые, что ли, и нос с горбатиной, кто же еще. Но живет в Москве, как все народы. На девчонку похож, смазливый. Он недавно у нас. Удачливый, как бес. Кто в такие холода отвинтит стекло, чтобы напустить морозу в теплую машинку, польстившись на штампованную дешевку, – самые болваны. А нет, болваны в иномарках не ездят. А на Пушке сплошь иномарки. Ясно, что на штамповке написано *Longine* или *Citizen*. Какой лонжин за десять баксов – всем известно. Почему-то на Чечевицу болванов хватало. Но он не гордый. Похвастать любит, и то нечасто, а так ничего. Зла на него никто не держит.

Не, насчет зла я наврал. Маня держала. Иначе не билась бы с ним смертным боем. Придерется, что джентльменские соглашения не соблюдает, и лупит. Не то что на глазах у всех, а ототрет плечом к железной оградке, какие на кладбищах стоят, перепрыгнет с проезжей части на сам на бульвар и его утянет, а там врежет незаметно разок-другой, иногда до юшки. Красиво – красная юшка на черно-белом снегу. Кулак, как у мужика. Не скажешь, что дева. У нее и выпуклостей нет. Счас не видать, зато летом полное кино. Тулово квадратное, развитое, мускулы играют. А на том месте, где эти штуки должны торчать, два прыща. Что в майке, что без. Чечевица говорит, она еще маленькая. Но Катька тоже маленькая, а с этими штуками полный порядок.

Маня качает бицепсы круглый год. Что зарабатывает, все на *гут* тратит. Ее интересует результат. Чечевице нравится процесс. Деньга к нему как легко приходит, так уходит. Маня могла б не пускать ему кровь. Он бы и так ей отдал, возьми попроси. Мне надо было, я сказал по-человечески, он дал. Но Маня грубая и в психологии не сечет. Силу знает, и все. А в нашем деле психология на первом плане, как Хвощ учит.

– У!

– Угу?

– Уйди.

– Сколько раз говорить, тот ряд мой!

– И шла бы, не стояла на месте.

– Я не стояла.

– Ты прыгала.

– А ты елозил.

– Бери и ты елочь.

– Мой ряд, чего хочу, то и делаю.

– Ты его купила?

– Здравсь!..

– Не здрась, а покажи письменный контракт. Без письменного контракта устные договоренности недействительны.

Это он так над ней издевается. Отличник, небось, я не спрашивал.

– Тебе мало? – Маня заходится.

– Дура ты, Маня. Время – деньги, слыхала? За это время у тебя, точно, два или три покупателя уехали, а ты зря его тратишь.

Маня встрепенется, перемахнет обратно через могильную оградку, а светофор переключился, и опять машинки не стоят, а помчались, она сплюнет с досады, плевок застынет в полете, ей нравится, она еще раз плюнет и любитесь мутной ледышкой, впрямь как маленькая, и тут мимо нее склизнет Чечевицын и встанет, как конь перед травой, перед очередной машинкой в тот самый миг, что и машинка встала, и рука водителя – а то круче, водителыши! – как миленькая опустит боковое стекло, и уже Чечевицына физиономия там, внутри, в облаке теплого пара, кажись, счас весь туда втянется, где духи и запахи, но проходит секунд пятнадцать, и он тут как тут, одной лапой кровавые сопли вытирает, от тепла расплавились, след Манькиной лупцовки, а в другой опять три тоненьких сотенных бумажки, у подлеца.

Катька заливисто хохочет. Ей нравится, что Маня проиграла. Мне, если честно, тоже. По жизни я против Мани ничего не имею. Но девчонка есть девчонка. Значит, на втором месте после Чечевицы. На первом для меня всегда парень. Я ни против никого ничего не имею. Все партнеры. Пусть и соперники. Вот интересно: все партнеры на земле соперники или у нас одних?

– Здорово.

– Здорово.

Генка сунул мне пять. Я ему пять. Он стоял в мое отсутствие вместо меня. Я снова здесь – он может уходить. А он трется и не уходит.

- Боец, спасибо за службу.
- Генерал, что ли, благодарности раздавать?
- Ты не понял, я вернулся.
- И что?
- А то, что ты свободен.
- Как свободный человек могу быть, где хочу.
- Ты можешь, но отсюда канай.
- А если не поканаю?
- Тогда может быть все что угодно.
- Кому угодно?
- Ну, мне.
- А жопа в говне?
- У тебя.
- А если у тебя? Хвощ тебе скажет...

– Ничего мне Хвощ не скажет. У тебя свое место. У меня свое. Тебя сюда командировали вре-ме-нно, ясно? Тебе по нутру, я понимаю. Пушка всем по нутру. Но Пушка – мое место, а твое – застава Ильича, если не ошибаюсь. Мы центральные, вы периферия. Понюхал – запомни. Вернись на место и старайся, расти. Дорастешь, как мы доросли, будешь здесь стоять. До старости. А мы к тому время займемся чем-нибудь понаваристей, ха-ха. Так что канай отсюда подобра-поздорову.

Упертый. Не ушел. Дали красный. Побежал к машинам.

Хорошо. Пусть потрудится. Я подозвал Катьку:

– Смотри за ним в оба.

Катке ничего не надо объяснять. Все сечет с первого раза.

Мы с ней стояли на Кудринской. Она меня и притащила. Удобно. Близко, где я живу. Мы рядом живем. Но потом начали делать переход над Садовым и под Садовым, все перерыли, перекрыли, пустили движение по-другому, чем было, и стало негде стоять. Хвощ перекроил карту и поставил нас на Пушке. А Маня со Сретенки пришла.

* * *

Мы называемся дистрибьютеры. В Москве нас тыщи. Мы включены в сеть. Она огромная. Одна половина населения впаривает другой. Что? Да что угодно. Кто толкает продукт, кто – рекламу о продукте, кто – всякие разные услуги. Автошкола там, иностранный язык, какая-нибудь лазерная коррекция зрения или бесплатная доставка пиццы. А есть люди-рекламные щиты. Я сам начинал как ходячий щит. *Знаете ли вы, что, поставив зубной имплант вместо протеза, вы выигрываете не менее 10 раз!* Это летом, когда не было школы. Слоняешься, одинокий как перст. Перст значит палец. Почему палец одинокий, мне неясно. Рядом может слоняться другой щит, то есть другой палец. А все равно два одиноких. Есть еще другие предложения. Для детей и для взрослых. Но их на улице не объявляют. А мы на улице. Отучимся – и сюда. Или берем и пропускаем школу. Мы улице подходим, а она нам.

На Пушке я главный. Король и есть Король. Ребятишки со мной и подо мной. Мое дело – навестить вовремя Илью-хромого получить продукт. Илья, по прозвищу Хвощ, – дилер. Он хромым, поскольку ему кинули нож в живот, а он успел отскочить, и нож попал в ногу, а в поликлинику сразу не пошел, дела были, представляю, какие, нога загнила, и ему в Склифе оттапали кусок, так что у него в ботинке вместо мяса с костями железный штырь с деревяшкой. Сперва афганца на проезжей части лепил, это до нас, потом чечена с усами, притом что он не

черный, а скорей желтый, но, может, красился, тогда или счас, не знаю, а состояние округлил, это уж при нас, и перешел заместо полевых работ на конторские, то есть, сидя у себя дома в Сокольниках, раздаёт пацанам продукт. Что в нем хорошо – что не жмот. Но иногда унижает пацанов. Пацанов чаще. Пацанок реже. С одной у него что-то было. После ее мертвой нашли. То ли тогда с ногой случилось, то ли позже. Это не Илья рассказал. Илья нам не рассказывал. А так не спросишь. Ведет себя по-свойски, но варежку с ним лучше не раскрывать. Одним своим желтым взглядом на место поставит, и встанешь как вкопанный, и не пошевелишься. Если плохое настроение – расчет точный до копейки. А если хорошее – может вместо десяти процентов округлить так, что и до двадцати набегит. Я имею в виду, в нашу пользу. Не, в целом ниче мужик.

Продукт, который мы распространяем: часы, ремни, атласы проезжих дорог, базы данных, книжки типа «Бандитский Петербург» или «Бандитская Москва». Денной заработок доходит в иной день до полутора сотен. А в иной – хорошо, если тридцатник обломится.

Пока я отсутствовал, Хвощ произвел замену, поменял меня на этого Генку. А у меня Сонька болела. Не как обычно, понос там или простуда. А сразу крупозное воспаление легких. Никто ж за ней не смотрит, как она бежит из школы с подружками, без шарфа, потная, воздух ледяной глотает. Наглоталась. Заходится от кашля, колотун колотит, страху натерпелся, вся моя спесь по жизни куда-то испарилась. Пришлось звонить лысой тетё Томе. Лысая, потому как злющая, волосы от злости все и повыпадали. Прискакала, истерику устроила, вызывай, орет, «скорую помощь», в больницу срочно класть, пока не поздно. Я что, я ничего, молча вызвал. И всю неделю, как цуцик, между домом и больницей. Бульон варил из курицы, таскал молоко всякое, витамины. Как сиделка сидел. Опять же молча и улыбаясь. Выберемся, мол. В больнице, кроме доктора, ничего и никого. И то с утра обойдет палаты и исчез. Сестра еще забежит, укол сделает и тоже исчезла. А если чего ребенку надо, ребенок пропадай? Хорошо, другие дети подойдут помогут. Но у нас в палате как нарочно все тяжелые лежали. Я, как Тимур и его команда, горбатился. Но моя команда на заработках, а я в единственном лице среди коек. Еще денег одолжил у соседа Иван Поликарпыч. Хорошо, дал. Под честное слово. Я подумал: если что – Чечевица выручит, перезаймет.

* * *

Красный свет.

Кончай перекур, пошел работать.

Работа наша состоит из ловкости, терпения и интуиции. Напрягся – расслабился. Красный – напрягся, зеленый – расслабился. Интуицию Хвощ ставит на первое место. Бросаем взгляд на шофера и обязательно, кто рядом на сиденье, и пытаемся поймать, выгорит ли, нет. Если седок – шеф, время не трать. Если друг или подружка – трать, но с разбором. Если в машинке один водила – включайся на полную и обязательно старайся встретиться глазами. Если интуиция врожденная, на все машины кряду не кидаешься. Но врожденная она у нас у одного Чечевицы. Следом Катька – схватывает в момент. Я где-то на третьем месте. На четвертом Маня. Это наша команда. Другие команды работают в других местах. Но иногда идет передел, так что ухо надо держать востро.

– Вов, ты где был?

Катька бочком притерлась.

– Я кому сказал смотреть?

– Я смотрю.

– На кого?

– На него.

– А кто на меня смотрит?

– Так только одним глазком.

– Я сказал, в оба.

Ей надо передвигаться по своему ряду и одновременно смотреть за Генкой, но она как Наполеон. Это Илья про нее сказал. В плане, что сразу несколько дел может делать. Порозовела, как услышала. Чуть что, розовеет, как роза с мороза, рыжая.

Зеленый. Пошел!

Мы идем повдоль оградки. Растянутой цепочкой. Чтоб сразу занять позицию, как новая партия затормозит. Катька передо мной виляет попкой. Научилась. Я ж говорю, скорая на учебу.

Быстро переключилось на красный. Едет кто, что ли. Бывает. Шоферня бесится, до гудения доходит, а гуди, не гуди, начальство свой маневр знает, а на остальных ему начхать. Нам выгодно, но, с другой стороны, когда шофер в таком настроении, к торговле не расположен. Может и послать, легко. Мы не обижаемся.

– Эй, мальчик!

Я думал, мне, подошел. Генка опередил. Или решил, что ему, или просто натура хитро-жолая. В «вольво» дамочка в мехах отвернула стекло и запела:

– Мальчик, где-то поблизости должна быть двадцать четвертая больница, ты не знаешь, где?

Я вижу, что не по делу разговор, и теряю к дамочке интерес. У нее же тоже интереса ко мне с моим товаром нет, ей справка нужна, вот пусть Генка и дает. А он скорчил рожу, притворяясь, что забыл и не может вспомнить, а сам крутит своей тыквой по сторонам, у кого б спросить, не местный, а приспичило дамочке услужить, плюс показать, что старожил центра. Бывают такие фуфловые артисты.

Катька, цепкая взглядом, крикнула:

– Что? Он в ответ:

– Слушай, забыл, где двадцать четвертая больница, вертится, а где...

Вертится у него, ага.

Катька в ответ четко, как справочная контора:

– Тверскую пересечь, кинотеатр проехать, слева по бульвару длинное светлое здание с колоннами, на Петровку повернуть и с Петровки заехать!

Дамочке не слышно, она смотрит на Генку, выжидая. Понимает, что тот берет справку. Генка склонился к окошку, пересказывает, а я, вместо, чтоб воспользоваться и заняться другой клиентурой, почему-то не отрываю глаз от этого неинтересного для меня «вольво» и вижу: дамская ручка в перчаточке, а в ручке зеленая бумажка. Десять баксов. На моих глазах, козлина, отобрал чужой заработок, который ему не принадлежал, поскольку вступил на чужую же территорию. Вчера была его, а сегодня командировка кончилась. Стало быть, жулик. А жуликов надо наказывать. Мы тут работаем, а не жулим.

Я давно заметил, как начнешь думать, то можешь придумать, чего хочешь. Оправдать – спокойно оправдаешь. Себя, допустим. Обвинить кого – проще нету. Маня тоже злилась на Чечевицына за перехват клиента. Но мы свои. А козлина чужой. Вот в чем и дело: свой и чужой. И не говорите мне, что люди и положения равны. Никогда не равны.

Я вижу, то есть не вижу, но словно бы вижу, как мысли сами собой складываются в цепочку. И получается, что ты не только хозяин над мыслями, но и над тем, про что они. Не всегда, правда. Иногда мысли сами берут верх и делают с тобой, что хотят. Когда Соньку, съездившуюся, затихшую, толстозадый дядька-врач со «скорой» взял на руки и понес вниз по лестнице, а я стоял и смотрел сверху, то я вдруг представил, что из этих рук она уже не встанет живой, а опустят ее на какой-нибудь холодный стол, и я никогда больше не услышу ее картавого говорка, так у меня аж челюсти свело. А всех делов-то – мысль. Ничего кроме.

Я не хотел вспоминать. Не знаю, зачем вспомнил.

Он держал ее в руках. А я держал себя в руках. Слова одни, смысл разный.
Мы все тут одни, а смысл разный.
Короче, чужой так легко у меня не отделается.
Красный. Вперед.

* * *

Неудача преследовала, мать ее. Неужто за неделю утерять квалификацию! Ерунда, ничего я не утерять. Бывает везуха и невезуха.

- Сколько у него? – спросил я Катьку.
- Всего? Семьсот двадцать плюс зеленая бумажка.
- А у тебя?
- Немного пока, восемьсот. А у тебя?

На Катькин вопрос я не ответил. Чего отвечать, если она и так все видит. Слежкой могла б заняться между делом. Значит, у него даже больше, чем у нее.

Зимой смеркается рано. К четырем начали зажигаться огни. Козел Генка продолжал бодать машинки, а везуха и его оставила. Он прогорал. И я прогорал. Не прогорай я, может, у меня было б другое настроение, и я отпустил бы его без наказания.

Раньше мы заработанное складывали в общий котел и делили поровну. Хвощ сказал, что это у нас ошметок социализма и пора с этим кончать. Непонятно, но мы поняли. Хвощ еще сказал про партнерство и конкуренцию в одном флаконе. Так что каждый теперь работал на себя, а лишний конкурент никому не требовался.

Генка ждал темноты, чтобы по-трусливому слинять. И я ждал, зная, что он захочет слинять, первое, и второе, что в темноте наказать его будет легче, без лишних посторонних глаз и всхлипов: ай, мальчики, что вы делаете!..

Он ушел в подземный переход возле «Армении» одним неуловимым движением. Метнулся – и нет его. Катька коротко свистнула, я услышал и крикнул своим: за мной. Надо бы крикнуть: за ней. Но убей меня Бог, если б я смог такое выкрикнуть. Я был и остаюсь вожаком. Не мне за девчонками бегать. Эти несколько секунд мы потеряли. Пока я топтался на месте, не видя, как и куда он скрылся, а Катька, видя и головой мотнув, куда, ждала моего крика-приказа, он, выиграв эти же несколько секунд, исчез, и было неизвестно, в каком из двух ответвлений, побежал ли напрямую, чтоб выскочить на другой стороне Тверской либо еще дальше, то есть ближе к Страстному бульвару, где четыре выхода, или налево, чтоб выскочить у памятника Пушкину, либо у «Известий», либо у магазина «Бенеттон». Семь выходов, семь вариантов – чересчур для четырех человек, даже если преследовать беглеца в разных направлениях поодиночке. Ничего не оставалось, как положиться на интуицию.

- Чечевица?.. – спросил я у него на бегу как у самого такого.

Он без звука выбросил правую руку, показав направление.

Мы бросились к Страстному.

Не было никакой гарантии, что малый бросился туда же. Я на его месте постарался бы уйти от погони по многолюдной Тверской. В ту или противоположную сторону. Но под черепушку чужому не залезешь, тем более на расстоянии. Тем более окрестности ему не известны, как нам. То есть по логике действовать он не мог. А значит, пустил в ход ту же интуицию. Как одна интуиция взаимодействует с другой, хрен знает. Сталкиваясь, уничтожаются, или, наоборот, начинают позванивать, как Катькин голосок, похожий на материн хрусталь и сосульки на «Армении», так и так получается, что побег и преследование взаимодействуют на уровне, какой на трезвую голову не ухватить. А правда, что-то есть у этой охоты от хряпнутого пивка или винца. Такое свечение внутри и одновременно озверение. Идешь на автопи-

лоте, и боишься потерять курс, и ждешь, что вот-вот все разрешится к твоему ликованию. Или наоборот.

В несколько прыжков мы одолели ступени, но не в сторону кинотеатра «Пушкинский», а в сторону «Нового времени», не знаю, какое такое новое время имелось в виду, вывеска долго висела, потом ее сняли, и кинулись к бульвару. Эх, Джека бы сюда! Вот у кого был нюх. Сколько раз он выводил меня куда нужно, и выручал там, где без него хана. Но Джека два месяца как застрелил мент в моем подъезде, где, я считал, мы уже спасены. Этот глиста придрался, что пес без намордника. Но Джек всю жизнь без намордника, потому что умен и учен, не в пример глисте, а жизни его было всего ничего, три года. Да, он имел грозный вид, но послушен, как дитенок, потому что знал команды. Мои, ясно, не чьи-то. На чьи-то ноль внимания. Так воспитан. Хотел бы я посмотреть на пса, который слушался всякого, а не хозяина. Это всякий мог ему приказать что угодно, а он выполнял. Так у людей. У ментов тех же. Своих извилих недостает, заучат два-три приказа и хватают, согласно им, население, лучше то, какое кажется им мелким и бессловесным. Я гулял с Джеком, где обычно, возле «Павлика Морозова». Там и другие с собаками гуляли. Но в тот день никого, мы одни. И вдруг заявляется этот урод, похожий на глисту. Мне сразу не понравилась его вихляющая походка. Шлеп-шлеп в нашу сторону и гнусавым голосом: почему без намордника, гы-ы? Подумал бы, если б было чем: в парке никого, кому Джек может угрожать, в наморднике он или без. Я говорю: пес со мной, я за него отвечаю. А он: а за тебя кто ответит, шкет сопливый? Словечко *сопливый* меня здорово разозлило. А он еще добавил про родителей, мол, где они, веда давай к ним штраф платить, гы-ы. Я и замолк. А он, гад, наоборот, разговорчивый попался. Допрос устроил, ответов требует, но я уже как в рот воды набрал. Со мной бывает. Нападет молчун – никто мне рта не раздерет. Я не знаю, что было б, если б кто разодрал. Или я сам открыл, что б тогда оттуда полилось, какая вонь и грязь. Или кровянка. Такое бешенство нападает, что сладу с собой нет. А Джек же все чувствует. И в эту минуту почувствовал, как никакой человек не сумел бы почувствовать. Возьми да зарычи. Негромко так. Сдержанно. Про себя. Для умного знак: отойди и не пахни. А этот глиста как загундосит: что-о-о, еще рычать на меня, при исполнении!.. Это собаке. Пусть собака особо вникнет, что он при исполнении. Ну не долбанный? Я стою, как каменный, с *родителями* и со всем, чего он успел нагородить. А Джек уже рычит вовсю. Я понимаю, что лучший выход – драть со всех ног, и немедля, пока дело не запахло жареным. От пидора же этого чего угодно можно ждать. А в ответ – от меня и моей собаки. Я имею в виду, наших ответных мер. А с места сдвинуться не могу. Встал и точка. И тут Джек тихонечко так зубами потянул за штанину: мол, двигаем отсюда, Вов. И меня отпустило, и мы с Джеком побежали. Но как их учили, ментов: если цель бежит, пали в нее. То есть сперва в воздух, потом в нее. Он и давай палить. Преследует и палит. Палит и преследует. Дали им, террористам, в руки боевое оружие, мирное население пугать, а бандитов они сами пугаются. Мы бежим, и я только пса уговариваю: Джек, рядом! Потому, если он обернется и, не дай бог, прыгнет, менту не сдобровать. Пули в собаку или в себя я отчего-то не опасался, а за жизнь мента поганого опасался, дурак. Скажи я *фас*, Джек бы его растерзал в два счета, потом ищи свищи мою собачку и меня. Зато собачка была бы жива. Но я не сказал. Пересекли мы с Джеком в два счета Конюшковскую, взбежали на взгорок, а там наш дом. Мне показалось, что гад отстал. Я, в общем, спокойно открываю дверь в подъезд, отдыхаюсь во тьме, у нас же ж никогда лампочка в подъезде не горит, а Джек вдруг такой странный звук издает, ультразвук, скорей. И дальше, как в кино, все медленно-медленно. Я оборачиваюсь. Прямоугольник света. То есть дверь распахнута, и свет с улицы, и в прямоугольнике длинная черная тень. Щелчок. И Джек падает. И струйка темная из него потекла. И все. Больше его нет. Все.

Не хочу думать и вспоминать об этом. Да мне и не надо. Потому что я никогда не забываю. Все четыре месяца помню, каждый день и каждую ночь. Ночь, поскольку сон один и тот же снится, как мой золотистый Джек жив, я просыпаюсь от радости, ищу его рукой на тахте, он же

всегда со мной спал. А его нет. И я вытираю рукавом рубашки мокрое лицо. От пота ночного. И все помню и ничего не забываю.

Дымы отовсюду ползут в небо, вьются, играют, как бесы. С чего-то поднял глаза кверху и заметил, хотя выше-то не до неба. Наш интерес не наверху, а внизу. Мы сами – собаки-ищейки в городе, где нельзя взять след, потому что затоптаны все следы и потому что наши пра– и пра– не были натасканы на поиск, как пра-, пра– и пра– Джека. Наши тоже были натасканы, но на другое. Я ж говорю, охота шла всегда. И идет. У людей малиновым вареньем намазанная, с суськами-масюсками, как Чечевицын говорит. У зверей не намазано. У них по-честному, по-зверски, по инстинкту. У нас по-подлому, по-людски, с подсказкой ума.

Я, люди, такой же, как вы. Не хуже и не лучше. И я ищу Генку, чтобы набить ему морду. И я найду мента, который убил мою собаку, чтобы убить его.

* * *

Мы спим с нашими девчонками.

И Катька притащилась со мной ко мне домой, чтобы спать.

Интересно: снаружи холод, щеки обмерзли, а внутри жарит. Шарф потерял. Молния на куртке разошлась. С ботинок грязи натекло.

Катька взяла тряпку, вытерла. Маня никогда не вытрет.

Тряпка лежала для лап Джека. Так и осталась. Ему я лапы вытирал. Себе нет.

Сонька еще в больнице, полная красота. Но мы занимаемся этим и при Соньке. Запрет Соньку в другой комнате, и порядок. Скажем сидеть и делать уроки. Сидит и делает. Или кукле Сонечке наряды шьет. Когда тетя Тома лысая подарила, Сонька ее своим именем назвала. Но не Сонька и даже не Соня, а Сонечка. Может, что ее так не зовут. Обожает переодевать Сонечку. Часами сидит, примеривает, перемеривает, что запертая, что нет, послушная. А что, может, метод? Надо другим родителям сказать. Пусть попробуют. Хотя попробовали бы меня запереть, а сами этим заняться!

Я Соньке не родитель. Я вместо. Я с ней и грубым бываю. Тогда она плачет. А у меня скребет. А бывает, не скребет. Я понимаю, она мала еще. Ей без матери хуже, чем мне. Но у меня свои дела. Не могу я с ней с утра до вечера тюткаться. А то подойдет, прижмется. По волосам погладишь, за это все стерпит. В больнице не гладил. При других стыдно. И она отдельно, стесняется. Как взрослая. Доктор сказал, через три дня выпишут.

Я могу думать о чем угодно перед этим. И во время тоже. Катька сопит, глаза закатывает. Кино насмотрелась. А то у матери научилась. А мне лишь сперва было не по себе, теперь нормально. Когда мы вдвоем, она зовет меня Вовка-морковка. Назвала один раз при всех. Заработала щелбанов. Пусть скажет спасибо, что одних щелбанов. Про *морковку* первый раз сказала, когда заставила трусы снять. Хихикает и тычет пальцем мне в низ живота: морковка, морковка! Я глянул: правда, вырос, как морковка. Я уже не дитя, знал, что *морковкой* делают. Но что интересно, стоит ей теперь сказать *морковка* – я раз и готов. Вот опять – мысль, и от мысли заводишься. Какая мысль – не мысль даже, а слово.

Я с Катькой, Чечевица с Маней. Мы у меня, они у Мани. Маня и тут как мужик, а Чечевица как девчонка. Смеху! Иной раз меняемся.

У Мани папаша сторожит гараж. Сутки в гараже, двое дома. Дома хлещет водяру, в гараже отсыпается. И мамаша такая же. Не работает, по помойкам шастает, собирает и приносит, включая еду. У Мани есть еще сестры старшие. Одна замуж вышла в Подмоскovie. Вторая уехала в Египет по турпутевке и пропала. Домой не возвращается. Писем не пишет. Непонятно. Маня говорит, она там в каком-то бизнесе. Может, и в бизнесе. Маня про *морковку* не знает. Пару раз хотел сказать. Чтоб посмотреть, будет тот же эффект или нет. Нарочно снял раз трусы

и показал. Но Маня совсем тупая. Или я тупой. Возмемся, как положено, а в чем разница, не знаю, как объяснить. Я имею в виду, между ней и Катькой.

Чечевица как-то предложил всем вчетвером заняться этим. Журналы иностранные при-
волок, где картинки, переводил, что под картинками написано, мы ржали, как лошади, а он целиком на английский перешел, тогда уж мы по полной оторвались.

А предложение не прошло. Может, еще пройдет. Жизнь большая, все впереди.

Между прочим, Катька первая начала. Вов, говорит, Вов, а давай, говорит, Вов, я тебя приласкаю. Я хмыкнул, а у самого внутри все упало. Сначала упало, потом загорелось.

Катька как капуста. Ботинки, носки, треники, рейтузы, колготки, штаны. Сколько они на себя напяливают, жуть. Пока снимет все, замерзнешь ждать. Я натянул одеяло под самый нос, лежу, гляжу, дрожу. Сначала мы отворачивались. Мы от них, они от нас. Делали вид, что нам не интересно. По-тихому подглядывали. Как у них устроено и как у нас. Больше не отворачиваемся. Она лезет ко мне под одеяло, холодная, как лягушка. А через пять минут оба, как пирожки горячие. Иногда она сразу после этого домой бежит, иногда остается. Тогда едим чего-нибудь из холодильника, смотрим телек, можем в картишки перекинуться. Не уроки же совместно любовникам делать. Это Катька сказала, что мы любовники. Я чуть в аут не выпал. Любовники. Мы. С тобой обхохочешься, подруга. Мы партнеры. Партнеры и соперники. А это необходимость. Так устроено. Лучше, чем самому себя, когда девчонка тебя.

Катька умеет, потому что ее мать проститутка. Я не ругаюсь. Это официально. Ну, может, не официально. А может, и официально. Точно не знаю. Знаю, что не по улице ходит, а работает по вызову. Одну, которая на улице, я часто вижу. Возле памятника Шаляпину ошивается на углу Садового. Знакомая бомжиха говорит, она самая старая проститутка города Москвы. Типа звания. Бокастая, животастая, как бочка. Круглый год ходит в красном клифте и кожаной юбке выше колен, из-под которой ноги-бутылки торчат. Стрижена почти под ноль, остатки крашены в белый цвет, а челка, торчком, в черный. Примочка такая. Физиономия – чистый крокодил. И кожа крокодила. Но сам видел, машины останавливаются, сажают ее и увозят. Надо же, на такое чудовище, а все равно любители находятся. А Катькиной мамашке звонят, она сама садится в свой «пежо» и едет, Катька рассказывала. Дома не принимает. Говорит, дом есть дом, семья есть семья. То есть они с Катькой семья, потому как отца у них отродясь не водилось. То есть ясно, что без отца Катька не могла родиться. Но в доме ни фото, ничего. А мамашкиных много. Я сначала увидел ее на фото, а уж после так. Так она еще лучше. Пожилая, но все равно красивая, со старухой у памятника Шаляпину никакого сравнения. Лицо бело-розовое, как зефирина. Глаза голубые, небо в них плавает. И вся как кувшинчик с ручками. Ходит, покачиваясь, и Катьку то и дело целует. Вова, говорит, защищай Катю, Вова, никому в обиду ее не давай. Катька от поцелуев морщится, а это место, где мать целовала, берет и вытирает. У них отношения: мать подлизывается, Катька командует. Катька говорит, они с матерью антагонисты. Не понял. Но когда фото мамашки разглядывал, Катька рот кривила и плевывала прямо на чистый пол. Я понимаю, у меня пол грязный, а тут же все вылизано. Это ее Маня научила плевать. Катька сказала, что и деньги пошла зарабатывать, чтоб свои были, у матери не брать. Хотя та готова в молоке ее купать и сливками смазывать. Показала наряды, какие мать накупала, а она нарочно ничего этого женского не носит, а носит пацанье. Мне ихние наряды по фигу, и отношения по фигу. Но интересно. Катька на мать несколько не похожа. Ни кожи, ни рожи, как любит говорить тетя Тома злыдня. В отца, должно, пошла, которого не было. Рыжая, конопатая, убила дедушку лопатой. Дразнилка школьная. Может, жаловалась на кого в школе, вот мать и просила защитить. Но навряд ли. Скорей, так сказала, просто чтоб что-то сказать. Взрослые часто, я заметил, говорят, чтоб что-то сказать. Неясно, зачем.

* * *

Мы с Катькой в одном классе, дружбаны. У нас редко мальчишки с девчонками дружат. Влюбляются, да. А дружат, нет. Я этим влюбленным шелбаны ежедневно раздаю. Кто сопли распускает, кто кривляется, из себя меня корежит. До этого года редко было. Ну, один кто-то за кем-то бегал. Ну, два. А в этом году как зараза. Началось с одной парочки и пошло-поехало. Глазки туманные, вздохи-выдохи, походочка умереть-заснуть, несет, как от козлов. Я ж говорю, заболели. Мы с Катькой со смеху мрем. Мы-то уж все прошли и смотрим на них сверху вниз как опытные: ну-ну, ребятишечки, учитесь, познавайте жизнь, не из учебников, а как она есть, настоящая. А учителя, те же тоже запах чуют. Слониха наша, классная, химичка, Вер Пална, сдуру принялась объяснять нам, какие химические реакции лежат в основе, ну, этого. На минуту перепутала химию с половухой. Говорили, что с нового года введут половое воспитание. Не ввели. Специалиста не нашли, или планы изменились. Видать, вместо Слониха и ринулась в бой. Слониха – чудила. Ее все касается. Где бы что бы – везде сунется. Во-первых, она *солдатская мать*. Движение такое. Притом, что я не слыхал, чтоб лично у нее были дети, солдаты там или не солдаты. Во-вторых, таскается на какие-то встречи с такими же чокнутыми на этом, как его, либерализме. Явится на урок, сияя, и, задыхаясь: это не обмен мнениями, нет, это, это, это бусы из жемчуга, где каждый нанизывает свою жемчужину на общую нить. Изложит эту чушь и глядит по привычке не на нас, а в окно. А в глазах мокро от возбуждения. Противно. У нас-то глаза сухие. А когда сухие, замечаешь все. Когда мокрые – ничего. Мы, каждый, занимаемся своими делами, а она продолжает. Она еще, кроме прочего, стихи пишет. И вот читает, вот читает. Это на уроке химии! Счас вспомню. Я не знаю, не знаю, не знаю покоя, рассказать вам, спокойным, что это такое... Ну, можно один раз сказать: я не знаю. Ну, два. Но три! Можно подумать, у нее в запасе всего два-три слова и есть. И опять в окошко смотрит. У нее астма. И, может, она на волю рвется из душного класса, как птица. Слониха – птица. Уписаться можно. Но все равно у нее в запасе больше слов, чем, допустим, у историка Владлен Прохорыча, погоняло – Прохаря. Он военрук. Историк по совместительству. И вся история у него в ряды построена. Как в армии. Выступает феодальный строй, за ним крепостной, за крепостным еще какой-то, а в конце славные ряды коммунизма сменяются дикими рядами капитализма, но каждый раз, согласно историческому закону, побеждают революционные массы, и они опять скоро выйдут на арену истории и опять победят, обещает Прохаря. Если я чего-то не путаю. У меня что по истории, что по химии твердые тройки. Твердые, потому что ниже тройки у нас не ставят, иначе у учителей неприятности. А так, наверно, были б двойки. Мне нравится Прохаря. С животиком, но крепенький, кроссы бегаёт и обожает боксировать. Рассказывает урок – и раз, хук с правой. Продолжает – раз, хук с левой. Поневоле запоминаешь. Например, как наш царь Петр велел нашим боярам сбрить бороды и прорубил окно в Европу. Где, забыл. Надо спросить. Или как Россия подряд била турок, французов, поляков, немцев, австрияков. Ну и правильно. Они к нам через окно, а мы их взад коленом. Я поднял руку и задал вопрос, в том смысле, что на кой нам это окно, нельзя его обратно заколотить? Прохаря любит, когда задают вопросы. Он говорит: активный урок. А мы когда спрашиваем, тогда он не успевает спрашивать, что нам и надо. В тот раз чуть не обниматься полез. Настолько ему понравилось, что я спросил. Вова, говорит, запомни, Вова, и вы все запомните, и так обвел руками класс, мы еще заколотим это окно, и все опять будут бояться нас, как прежде. И – хук справа. В воздух. Катька встает и невинно так интересуется, зачем, мол, нужно, чтоб нас боялись? Сиди она рядом со мной, я б дал ей в лобешник за глупость. Но мы тогда поругались, и она от меня отсела. И тут звонок зазвенел на перемену. Девчонки часто разводят ляля на ненужные темы. Несерьезный народ. Что Слониха и Прохаря в контрах, ежу понятно. *Солдатские матери* против *Прохарей* по определению, говорит Маркуша. Но у Прохарей и

с Маркушей разногласия. А у меня у Маркуши у единственного четверка. Я хорошо считаю и строю геометрические фигуры как родные. Уже по одному по этому я не могу не быть на стороне Маркуши. Он говорит, у меня развито полушарие, которое отвечает за математику, а за историю нет. Но, говорит он, у Прохарей то, которое за историю, не развито точно так же, как за математику. Смех. А он продолжает: неудивительно, что ты не любишь истории, хотя и жаль, пригодились бы. Беседы эти со мной Маркуша ведет не на уроке, а когда идем домой. Мы совпадаем по дороге. И иногда по времени. Я чувствую, мне хотелось бы, чтоб совпадали по всему. Но он держит меня на расстоянии. И я это чувствую. Маркуша – Марк Наумич, у него погоняло по имени. Умный, как не знаю кто. И никто так не позволяет себе разговаривать с учеником, как он. Не притворяться и не врать, я имею в виду, не делать вид, как все делают, и никогда, чтобы просто что-то сказать. И здесь я здорово путаюсь. Как могут нравиться два противоположных человека? Один нравится за силу. Второй – за ум. Притом у историка все элементарно. А у математика, как ни странно, наоборот. Я однажды взял и прямо спросил Маркушу, в чем дело. Маркуша пожамкал толстыми губами, как обычно жамкает, когда думает, поэтому он такой медленный, а не скорый, и говорит: математика, брат, сродни, брат, поэзии. И тем окончательно меня запутал. Поэзия – у Слонихи. Я не знаю, не знаю, не знаю покоя... Или он пошутил? Он любит шуткануть. И не всегда поймешь, когда шутка, а когда нет. Да, сложна жизнь.

Мы пошамали с Катькой, и Катька прозвенела своим колокольчиком:

– А кто у вас готовит?

Это вызвало у меня тихий приступ веселья. Кто-кто, дед Пихто. Кто может готовить в доме, где парень и маленькая девочка?

– А эта твоя тетя Тома? – спросила Катька.

Мое веселье зашкалило. Лысая тетя Тома, наша опекунша, брала нашу пенсию за маму и выдавливала, как из тубика пасту, по чуть-чуть, чтоб нам не сдохнуть с голоду. Я не сомневался, что она и опекунство оформила из жадности. Мы были ей никто. И она нам никто. Она знать нас не хотела, когда мать была жива. Никогда у нас и не появлялась. Зато отца, когда был жив, то и дело к себе вызывала, после чего тот возвращался выпивши. Так-то он не пил. Я на самом деле понятия не имею, что там у них было, потому что мама всегда дверь закрывала, когда они с папой выясняли отношения. Тетя Тома сама собой отсохла, как папа попал под машину, а мама тогда ходила с животом, Сонька-то родилась уже без папы. И присохла, едва мы остались одни. К папиному с мамой наследству присохла, ежу ясно. Квартира, то-се. Всегда ходит и поглаживает наши вещи. С чего б ей поглаживать, если не держать в уме приватизацию или как там? Не дождется. Она так и так старше, потому помрет раньше. А мне как восемнадцать исполнится, сразу все на себя оформляю, только она чего и видела. Сонька, дурочка, один раз, совсем малая была, потянула за косынку, которую она носит вместо шляпки, не снимая, по сезонам только меняет, летом простую, зимой шерстяную, косынка-то и слети, а там сплошь плешь. Тетя Тома зеленая стала, как лягушка, и объясняет, что это на нервной почве, мол, когда вашего папу из-под машины извлекли. Думает, нам дело есть до ее нервной почвы. У нас своя нервная, мы же с ней никому не навязываемся.

Катька с трудом отмыла тарелки от остатков винегрета, воды горячей не было, холодная одна, и говорит:

– А здорово мы его вычислили, Генку.

Здорово, правда. Мы были в тот вечер как самонаводящее устройство. Или он – самонаводящее. Кто навел, знать бы. Похоже, что в нем застряли Катькины слова: Тверскую пересечь, кинотеатр проехать, слева по бульвару длинное светлое здание с колоннами. Он и вышел прямо на него, словно кто мышью водил в его компьютере, а ему невдомек. И за колонной, у входа в больницу, спрятался. Чечевица ухмыльнулся, когда увидел его: удобно, если что, сразу в морг. Мы бы промчались мимо во тьме как пить дать, если б не случайные фары случай-

ной машинки. Когда долго с чем-то имеешь дело, устанавливается связь, клянусь. Машинки с нами, как люди, общаются, привыкли. Эта выкручивалась на проезжей части таким образом, чтобы фары осветили колонну, а за ней, внизу, не кошка, не собака, а человечья коленка торчит. Генка? Так и есть. Вчетвером мы могли измолотить его от души. Но мы так не поступили. Мы так не поступаем. Всегда стоит помнить: заступишь за черту, и с тобой заступят. Это правило. Лучше его не нарушать. Я взял козлину на себя. Один на один, по-честному. Хватанул за куртец и сходу отодрал ему рукав. Он заканючил, жалея рукав и уступая инициативу. Я двинул ему ногой промеж ног, как в кино показывают про полицейских и бандитов. Я не знаю, кто мне нравится больше и кем бы я хотел быть, полицейским или бандитом. Если у них – полицейским. Они там настоящие. Друга спасают, детей, женщину какую-нибудь, чаще блондинку, при этом есть жена, которая его понимает, а может и нет, тогда дополнительно переживаешь, как у него с блондинкой сложится. Но и за бандита переживаешь, когда он с друзьями или один берет банк и воюет с целой толпой полицейских. В этом случае у полицейских ничего не вытанцовывается, а если вытанцовывается в конце, то числом, а не умением. Умеет всегда кто-то один. И если один на один умнее и ловчее, тогда этот выигрывает, а тот проиграет. Смысл такой: много – лопухи, герой – один. Но у нас я не хотел бы быть полицейским. Во-первых, потому что у нас их и так нет, а есть менты. По телеку у ментов рожи вроде тоже. А по жизни – нет. По жизни у меня есть главный враг, и он мент. Из одного этого вытекает, что с ментами мне не по пути.

От моего тычка Генка схватился руками за свое богатство и повалился на колени. Это позиция побежденного, а побежденных не бьют. Я приказал, стоя над ним, отдать сюда зелень. Он полез в карман, протянул покорно. Я взял. И мы поскакали на другую сторону. Там много лавок. Накупили пирожков, кока-колы, отметили это дело. Хотели пивка, но оказалось, пива теперь на улице не продают, депутаты решили. Вот люди. Нечего им делать – право на уличное пиво у народа отнимать. У них-то все под рукой, или им по здоровью нельзя, сам не ам и другим не дам. Чечевица меня поправил: себе всегда ам, другим не дам. И ухмыльнулся. Но кока-кола – тоже будь здоров. На мой вкус, сладкое лучше горького. Никому не признаюсь, засмеют.

Не, правда, суперски мы его нашли и отодрали. Я отодрал. Потому что я Король. И настроение у меня поэтому было суперское.

Катка спросила, как большая:

– Не хочешь проводить?

Делать было все равно нечего, я достал старую куртку, на новой-то молния испорчена, Катка надела свою, и мы пошли.

* * *

Катка затащила меня к себе. Мы как журавль и лиса, те тоже то и знай ходили друг к другу в гости. Только они не заставляли один другого, а мы не расставались. Сегодня, я имею в виду. Отчего, не знаю. Может, что сестры нет, и дом без нее пустой. По жизни я был у Катки раза три, не больше. Учебник какой-то брал, раз, на пару минут заскакивали перед кино, два, три, она зазвала, когда матери не было дома, и мы сидели как дураки, молчали, и было скучно, и тогда она стала показывать фотографии, на хрен они мне сдались.

Сегодня мать была дома. Ходила, курила, в халатике, закачаешься. Голубой, отделанный чем-то вроде меха, а сквозь все просвечивает, прозрачный, как занавеска, смотреть неудобно. Голос, как у Катки, хрустальный, голоса здорово похожи.

Я раздался в плечах, и куртка мне стала мала. Пока стаскивал, Катка, разоблачившись, звенела о чем-то в комнате. Я видел, как мамашка засияла, что эта шмакодявка к ней снизошла, и закивала: да, да, хорошо, да. Я вошел – Катка мне: расту, говорит, что ли, аппетит волчий, а у тебя? Пока не сказала, я и не думал, а сказала, сразу в животе забурчало. Моим засохшим

винегретом не больно-то наешься. А из кухни ароматы поплыли, Боже ты мой, слюнки потекли. Мамашка выкатывается в своем ничего: руки мыть, господа! Это мы господа, ну-ну. А запах от нее не кухонный, а как от той тетки из машины, только еще крепче. От Катьки так не пахло. От Катьки пахло воробьем. Я нашел больного воробья возле подъезда, давно, Сони еще не было, Джека и подавно, не с кем живым поиграть. Воробышка нахохлился, жалкий, мокрый, я давай на него дышать, чтоб обсох и согрелся. И слышу, он пахнет, зараза, как что-то мелкое и пестрое, типа пшеницы какой-нибудь или овса. Я не говорю, что пшеница и овес, но так показалось, что что-то пестрое и мелкое типа. И я обдуваю его, а сам нюхаю. И внезапно догадываюсь: другому делаешь – самому достается. Закон. Сколько лет мне тогда было – сопляк, а законы уже начал понимать.

Короче, отправили меня мыть руки. А я в ванной у них никогда не был. Не пришлось. Как и в уборной. Не придешь же, не скажешь: хочу в уборную. Терпел, если приспичивало. В комнатах вылизано, я уж говорил, но как в ванной вылизано – что-то отдельное. Флакончики, стекляшечки с разноцветными жидкостями, губочки, все сверкает, а душ и сушилка для полотенца и еще какие-то железяки – золотые. Золотые ли нет, не уверен, смотрятся как золотые. А я ботинки, как у себя дома, не разул, и они не сказали. Гляжу, грязи от меня на полу! Схватил одну губку, давай вытирать. Ёлы-палы, стекляшку задел, она свалилась, крик, треснула, жидкость малиновая из нее потекла, и запахло, как от мамашки. Я губкой орудую, а все маслянистое, никак не вытрется, я аж взмок. Едва хотел дверь запереть, чтоб не помешали, тук-тук, мамашка затыривается и спрашивает: у тебя проблемы? А проблемы – вот они, на виду, пузырятся в разные стороны. Ну, думаю, скандал сейчас грянет. А она взмахивает рукавом своим широким, так что в него кусок живой сиси с волосяной подмышкой видать, и небрежно бросает: оставь, говорит, Нюся придет, уберет. Цапает меня за бицепсы, разворачивает спиной к себе и выталкивает из ванной. Я считал, Катька единственная, а оказывается, еще Нюся есть. Катька потом объяснила, что к ним дважды в неделю женщина ходит, Нюся называется, готовит и убирает, отсюда весь блеск. Хорошо, видать, зарабатывает мамашка, раз они себе позволяют. Про стол не говорю. Позвали в кухню, кухня белая-белая, холодильник, шкафчики, занавесочки, плита, все белое. На белом столе стоят бараньи котлеты, кулебяка с капустой, рыба, плюс колбаска, ветчинка и какой-то рисовый салат. Настоящие гости. Я как глянул, сразу понял, что все съем, будто век не кормили. У нас ничего этого и близко нет. Я сам готовлю. Сосиски там, яичницу, гренки жарю, суп умею перловый и фасолевый, винегрет и еще по пустякам. А так Соня в школе ест, я перехватываю там же, тетя Тома принесет раз в месяц пару отбивных и пару пирожных – большой государственный праздник. Когда деньги есть, хачапури себе и Соне покупаю. Мы любим хачапури, с поджаристой корочкой, с молоком. А в больницу я бульон куриный варил и носил, тетя Тома сказала, больным хорошо бульон. Я ем, а мамашка смотрит на меня, то ли я дефективный, то ли сама меня скушать хочет. Забыл про звонки сказать. Несколько раз телефон звонил. Она всякий раз отвечала, как капризуля: не-а, не-а, не могу. А один раз резко: я провожу время со своим ребенком и с другим ребенком, могу я проводить время с детьми, неужели непонятно! На другом конце поняли и повесили трубку. Катька говорит: какие дети, сказала бы правду, что на больничном. Никаких признаков болезни у мамашки я не обнаружил и решил, что Катька придумала отговорку. Но Катька с темы не слезла. А что, говорит, в принципе, должны давать больничный, когда люди не могут исполнять свои профессиональные обязанности, или нет. Я понял. И обе сразу стали здорово противны, с их болезнями и обсуждениями при постороннем, по сути, человеку. Старшая стукнула младшую по затылку, в виде шутки. А та как вскочит, с перекошенной физиономией: еще раз дотронься! Эта засмеялась. И я почему-то поддержал ее смех. Катька зашипела: у, ш-ш-шалавы, с-с-спелись! А мать сделала холодное лицо и говорит: всегда была на кошку похожа, не зря в детском саду дразнили – Котька драная. Я вижу, что попадаю в центр воронки, закрутит – держись, пора делать ноги. На мое счастье, очередной звонок, мамашка взяла трубку –

и сделалась такой текучей-люющей-переливающейся, але, таким текучим-люющим-переливающимся, але, говорит и уползает змеей из кухни в комнату беседовать, чтоб не слышали. У них радиотелефон. А я предпринимаю последнюю попытку устаканить ситуацию. Кать, говорю, ну чего ты злишься, брось, она не знает, как тебе угодить, а ты... Не вмешивайся в чужую жизнь, отрезает Катька. И я, вместо того, чтобы встать и гордо удалиться, как хотел, сижу как пришитый, и еще накладываю себе рисового салата, хотя сыт по горло. Ну вот, и глазки заблестели, вернулась и проблеяла мамашка, словно мне лет семь или восемь, не хватало, чтоб за подбородок потрепала. Я говорю: а закурить можно? Нарочно басом. Катька чуть не поперхнулась. Она знает, что я не курю. Мамашка спрашивает: а ты какие куришь? Отвечаю: а вот ваши. Она протягивает пачку: бери. А они у нее длинные и тонкие, я таких длинных и тонких не видывал. Катька глаза сузила, правда, как кошачьи щелчки стали, и цедит сквозь зубы: это женские. И я уже не знаю, брать мне эту сигарету или не брать. Мамашка смотрит на меня, я на нее, и пока мы играем в гляделки, Катька опять как бомба взрывается: тебя пожрать позвали, голодающего, а не дымить, одной мало, так ты еще воздух будешь портить, давай, пожрал и чеши отсюда, урод недоделанный!

Все. Дождлся. Поужинали.

Вскочил, в секунду собрал вещички и – никак не могу открыть их придуточный замок, богатства ихние охранять вставленный. Катька выскакивает в коридор и замирает, как в игре замри, не помогает, ничего, а в глазах слезы. Пойми их после этого, бабье. Что-то щелкнуло, замок сработал, я свободен. Очутился на темной, без прохожих, улице. Уже не злой, но и не добрый. Какой, не знаю, пустой какой-то. Все ихние цирлих-манирлих, как тетя Тома говорит, встали поперек горла и стоят торчком. Дура, дура она и есть. Катька, я имею в виду. Как... забыл, зверьки такие бывают, окраску меняют в зависимости. На Пушке одна, за партой другая, балуемся – третья, а сейчас ваще. И мамашка фрукт. Из ванной вытаскивала, руками бицепсы мне трогала и вся шелестела: смотри, какой ты большой стал. Как будто она помнила, какой я был маленький. Я не помню, а она, видите ли, помнит.

* * *

Из прошлой жизни я отчетливо помню, как мы с мамой под Новый год ходили лампочки на елку покупать. Елочные игрушки у нас были, а лампочек не было, и я приставал к маме: купи да купи. И однажды она сказала: завтракай скорей, идем за лампочками. Я даже проглотил противную овсянку без звука, и мы пошли. Сели в метро на Краснопресненской, проехали останковку и вышли у Киевского вокзала, а там рынок и много-много лавок, в том числе с игрушками и электрическими гирляндами. В первой лавке продавец достает коробку и включает гирлянду в электросеть. Мама спрашивает: тебе нравится? А я замер, так было красиво. Мама интересуется, сколько платить, и достает кошелек. А продавец говорит: погодите, у меня еще есть. Открывает вторую коробку и включает вторую гирлянду, красивей той. Мама спрашивает: а эта сколько? А у продавца в руках третья коробка, и третья гирлянда светится покруче тех двух. Я дергаю маму за рукав, но у нее скучное лицо, и она скучным голосом говорит продавцу, что хочет заглянуть в другие лавки, просто, на всякий случай, чтоб сравнить, но потом вернется и купит ту, которая ребенку понравилась больше всех. Мы идем дальше, и везде повторяется: мы смотрим одно и то же и уходим. И я не понимаю, чего мы сравниваем. И тут мама говорит: что-то, сынок, я устала ходить-бродить, везде одинаковое, купим вот эту гирлянду и поедем домой. Я говорю: ты же обещала тому дяденьке! Я не могу ей сказать, что у дяденьки лампочки, которые уже приросли ко мне, и вернуться без них мне все равно, что вернуться без руки или ноги. А она говорит: да он давно забыл про нас, на рынке все все всем обещают. И я догадываюсь, что если она не выполнила обещания чужому дяде, то мне и подавно не выполнит. И я начинаю противно хныкать, и мать бросает мою руку и уходит

вперед, и я хнычу еще противнее, и у меня текут сопли из носу, и мать возвращается с перекошенным лицом и бьет меня по щеке, а потом громко ревет сама. И вот всю жизнь мне почему-то жалко ее, как маленькую. Не себя маленького, а ее.

Джек заслонил эту историю. Взял и заслонил. И получилось, что собака важнее человека. Да, так получалось.

Домой идти не хотелось. Чего там делать, ни Джека, ни Соньки. Можно, правда, телек посмотреть. Или, на худой конец, книжку почитать. У меня лежали две: «Вынужденное признание» Ф. Незнанского и «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. Гоголя. Взял обе в библиотеке. Первую для себя, вторую в классе задали. Ежу понятно, что первую проглотил, про этого следака Турецкого, как он раскрывает заговор тайной организации, в которой состоят высшие чины нашей страны, но интересно, когда все уже знаешь, а раскручивается заново, и ты в тени, не участвуешь, а на деле и есть главный, потому что у тебя все карты на руках. Вторую книжку раза три собирался открыть, но так и не смог, ботва. Поэтому позвонил из автомата Чечевицыну и спросил, что он делает. Нарочно так спросил, чтоб он спросил, что я делаю, и позвал зайти к нему. Он спросил и позвал. Я никогда к нему не ходил. А он никогда не звал. По телефону я ему звонил по ерунде, и он мне звонил, и ко мне заходил по случаю, а я к нему нет. Надобности не было или он так поставил, а я не заметил, не знаю. Я был готов повесить трубку, когда сообразил, что он не сказал адреса, а без адреса я его не найду. Я закричал в трубку: стой, а куда заходить? Он рассказал. Я отправился.

* * *

Я сказал, что Чечевицын жил в Москве, как все народы. Наврал. Не как все. Чечевицын жил в переулке на Старом Арбате. Но не в том дело, а в том, что он жил в доме с охраной. Просто так попасть к нему было невозможно. Я нажал кнопку, какой-то мужик спросил, к кому. Я ответил. Он еще спросил: а вас ждут? Я повторил для большей убедительности два раза: ждут-ждут. Мужик говорит: а как вас представить? Я чуть не упал. Топтаться на морозе, пока они соизволят все выспросить, а может, и проверить. Я сказал: Король, представьте меня Королем. Сперва ничего, затем что-то звякнуло, и голос сказал: открывайте, ваше величество. Я нажал на тяжелую дверь, медью окованную, и вошел в шикарное помещение: колонны, мрамор, на ступеньках ковер, зажатый такими блестящими металлическими штукаами, сбоку столик, на нем лампа под абажуром, телефон, компьютер, и сидит военный, похоже, что вооруженный. Ну, не военный, а военизированный, как все они, охранники. Говорит, не хмуро, а с улыбочкой: третий этаж, квартира семь, лифт справа. Я говорю: я пешком. Взлетел на третий этаж, только меня и видели. А уж там распахнута дверь, и Чечевицын на пороге собственной персоной.

– Чего не на лифте? – спрашивает.

– Замерз, согреться, – отвечаю.

– Заходи, – зовет, – у нас тепло.

Захожу. Ёлы-палы. Куда там Катькиной квартире, дыра по сравнению. А если Катькина – дыра, что говорить о нашей с Сонькой. Фавела. Если я правильно помню из кино типа «Генералы песчаных карьеров». Комнаты я после сосчитал. Семь. Если с кухней и ванной. С уборной восемь. Уборная такая, что ее надо считать отдельно. Я как поразился, так не счел нужным притворяться. Ходил, разинув варежку, заглядывал в двери, осматривал все эти покои издали, но все равно. Спальня отдельно, гостиная отдельно, рабочий кабинет, другая спальня. В общем, опять кино, но не про фавелы, а «Как выиграть миллион». Не, «Как выиграть миллион» – передача с хохмачом Галкиным, а фильм – «Как украсть миллион». Ну неважно.

Я говорю:

– Чечевицын, это ж уписаться, как ты живешь, и хочешь сказать, что один и есть владелец?

Он криво усмехается:

– Вообще-то нет. Вообще мы с отцом вдвоем живем.

– Вдвоем? – удивляюсь я.

– Ага, – кивает Чечевица. – Видимся редко. У каждого свое расписание.

– Как это? – спрашиваю.

– У него свои дела, у меня свои. Пересекаемся не часто. Можем поужинать вместе или позавтракать. А дальше разбегаемся в разные стороны.

– Ни фиги себе, – я провел кулаком под носом, с мороза оттаяло. – И в какую сторону сей момент побежал?

– Он редко сообщает. Каждый раз сообщать – я не запомню.

– Ночевать приходит?

– Как правило, да. Как исключение, нет.

Ничего похожего я от Чечевицы не ожидал. Совсем другой паренек, чем на Пушке. Чего он там забыл? Пока обменивались вопросами-ответами, он достал бутылку вискаря, я бутылочку быстро узнал, по фильму «Крутой Уокер», плесканул в толстые стаканы, как в «Уокере», я едва успел ко рту поднести опрокинуть, как Чечевица поднял вверх палец, предупреждая:

– По глотку.

А то я не видел. Видел. В фильмах всегда по глотку делают. Мы не сели, а упали в мягкие кресла. Чечевица взял со стеклянной стойки пульт, врубил телек, не такой, как у нас, а плоский, с большим экраном, и мы стали тянуть виски по глотку, и я точно почувствовал себя как в кино, а не в жизни. Меня сразу развезло, с маленьких глоточков, и стало так здорово, как никогда не бывало. Показывали программу новостей, и там мужик в тюрьме, то есть не в тюрьме, а за решеткой в зале суда, хорошо выбритый, коротко стриженный, с яркими такими белыми зубами и в тонких очочках. Чечевица спрашивает:

– Знаешь, кто такой?

– Не-а, – отвечаю. – А кто?

– Неважно, – говорит Чечевица и тут же раскалывается: – Знакомый отца. Один раз сюда приходил.

– Дела, – говорю.

И вдруг меня начинает нести.

– Это выходит, – размышляю я вслух, – что они и твоего отца могут загрести? Как общника? Тогда понятно, почему он ночевать не приходит.

– Да что тебе может быть понятно! – ни с того ни с сего свирепеет Чечевица. – Никому ничего не понятно, а ему понятно!

Я его ни разу настолько свирепым не видел. Покладистый же ж малый. Я говорю ему нарочно по-доброму, чтоб не думал, что я так уж на стороне закона, а не людей:

– Сообщники – это не всегда плохо. Может быть, наоборот, хорошо. Мы же тоже общники, ты, я, Катька и Маня, в войне, например, с Генкой. Не были б общники, кто-то мог бы заложить, или еще как-то предать, встать, например, на Генкину сторону. А у нас все крепко. Значит, хорошо.

Это я так длинно рассуждал оттого, что меня развезло. Обычно я думаю и говорю короче.

– Да не в том дело, – устало говорит Чечевица. – Человек страной может управлять, а его в тюрьму засунули.

Я догадался, что он говорит со слов своего отца, и вдруг мне стало дико завидно, что у него есть отец, с которым они обсуждают все эти дела, когда встречаются за завтраком или за ужином как самые настоящие друзья, а у меня ничего такого нету и быть не может.

Пошла реклама, где красивая телка сначала показывает перхоть у себя в прическе, а после избавляется от нее и встряхивает прической уже без перхоти, и она у нее встает дыбом, а потом

волной, а потом рассыпается по плечам, блестя и сияя. А Чечевица внезапно передернулся и говорит:

– Знаешь, кто это? – И, не дожидаясь ответа: – Моя маманя.

У меня глаза на лоб полезли. И лишь в следующий миг дошло, что он все придумал. Одни родные и знакомые у него в телеке. Издевается. Хочет достать – квартирой, родителями, телевизором и прочим. Зачем? Зачем ему это надо – отрабатывать на мне свои приемчики? Месть за Пушку, где вы меня можете уделать, а здесь я вас? Я мог бы вразумить его в одно касание. Но тогда я бы встал на одну доску с Маней, что глупо, особенно когда я распелся про сообщников, у которых все крепко и хорошо. Значит, некрепко и нехорошо? Мне стало неприятно, и я решил уйти, пусть до этого было приятно. Даже слишком. Случайно взглянул на Чечевицу, а у него лицо, как будто то ли живот заболел, то ли зуб.

– Ты чего? – спрашиваю.

– Ничего, – говорит. – Ничего. – И сам спрашивает: – Ты мне не веришь?

Я честно качаю головой. Не сверху вниз. А из стороны в сторону.

– Зря, – говорит.

Короче, вот что он рассказал. У него была эта мать, которую я видел в телеке, и отец, которого я не видел. Отец – бывший директор пушной фабрики, шубы-шапки, бизнесмен, депутат, то-се. Мать – бывшая манекенщица, то есть на ней, как на манекене, сначала показывали эти шубы-шапки. Жили – не тужили, черную икру хавали ложками, всем семейством отдыхали на Канарах, где это и что, не знаю. В один прекрасный день мать заявляет отцу, что заимела шведа, у которого в России автомобильный бизнес, и у них эта, *лав*. Отец ее чуть не убил. Но не убил. Только лицо слегка попортил, но потом лицо ей восстановили, и она ушла к шведу и сына забрала. И какое-то время они жили хорошо втроем. А дальше начались разборки со шведским бизнесом, шведа сильно напугали, и он драпанул к себе в Швецию, прихватив мамашу с сыном. Родной отец по родному сыну особо не убивался, а по жене убивался и, чтоб забыться, с ушами ушел в эту, как его, общественную деятельность. А Чечевицу в Швеции отправили в школу для иностранцев, где учились англичане-американцы, и с английским у него пошла пруха, а со шведским непруха. Что-то там еще, видать, было, о чем Чечевица не упомянул, а сказал только, что мать, вроде бы потеряв терпение, как я понимаю, отлупила его по мордам, а швед за него заступился и тоже поднял на нее руку, как отец, и тогда Чечевица заступился за нее, и теперь уже швед его избил. В общем, картина всемирного побоища. Бомжи лучше ведут себя, чем ихняя элита-бля. А Чечевица взял и ушел из дома. Но полиция его побыстрому нашла. И он перестал с ними со всеми разговаривать. И тогда швед заявил, что придется его отправить в какое-то там спецзаведение, но мать созвонилась с отцом, и Чечевицу этапировали в Москву. *Этапировали* – это он сказал. По жизни ему купили авиабилет, и отец встречал его на аэродроме.

Походило на сериал. Я по-прежнему не знал, верить или нет, и на всякий случай засмелся:

– Врешь ты все, Чечевица.

Тогда Чечевица достает с нижней стеклянной полочки журнал и протягивает мне:

– Смотри.

Я смотрю. На обложке фотография: два мужика в костюмах и галстуках. Внизу подпись: депутаты такие-то.

– И что?

– Ничего. Справа мой отец.

Фамилии Чечевицын там не стояло, я посмотрел. Я сказал Чечевице, чтоб не держал меня за лоха. Не зря я кино смотрю и книжки читаю, Ф. Незнанского, например. Могу отличить одно от другого. А Чечевица говорит:

– У него другая фамилия, Чечевицын я по матери.

Я даже расхохотался, как ловко он выкрутился. А он встал и предлагает:

– Пошли в его кабинет.

Я поднялся и двинулся за ним. Кабинет – блеск, весь в темном дереве, в глубине стол, обтянутый зеленым, на нем куча папок, кружка серебряная с карандашами и ручками и серебряные рамки с фото. В одной рамке Путин, а возле него мужик из журнала. В другой этот же мужик и тетка из рекламы. В третьей Чечевица между ними двумя, не в этом своем возрасте, а примерно в Сонькином. Лицо кукольное, как у матери, а нос с горбатиной, как у отца.

Я заткнулся. Крыть было нечем.

Почему-то внутри у меня заныло. Непонятное. Как будто до этого валило все понятное, а повалило непонятное.

– Чего ты с нами работаешь, если такой успешный? – задал я Чечевице вопрос в лоб.

Чечевица усмехнулся. Я такие усмешки видал у взрослых, у ребят не попадались.

– А скучно, – сказал он. – Жить скучно. – И вдруг спрашивает: – Тебе никогда не хотелось покончить с собой?

Раньше я таких разговоров не слышал, и как их вести, и что отвечать, понятия не имею. Я взял и просто-напросто закашлялся. То есть сделал вид, что закашлялся и не могу прокашляться.

– Стой, воды дам, – сказал Чечевица.

Я замотал головой, потому что я же не по-настоящему кашлял и мог сам остановиться, когда захочу. Тут же и остановился. И сказал:

– Лучше не воды, а вискаря.

Чечевица пошел за бутылкой, а я стал думать, что у Катьки и у Чечевицы, на худой конец, есть красивые фотки, и они могут предъявить их как доказательство, а у нас с Сонькой валяются две плохих любительских материнских карточки, еще две, где они с отцом, и одна отцова большая, и все. Почему я подумал о фотографиях как доказательствах, когда у Катьки живая мать, а у Чечевицы и вовсе оба предка живы, а не как у нас, хрен знает. Выходило, что со всеми моими знакомыми живут больше изображения, чем люди из мяса и костей. Хотя Катькина мать – из мяса и костей еще тех. Как она меня за бицепсы трогала – у-у-ух!

Вискарь был доставлен в кабинет.

– Стало быть, твой папашка *vip*, а ты *виповский* сынок, – хохотнул я, чтоб показать: кто сверху, тот оценивает.

– Считай, что так, – согласился Чечевица.

Мы развалились на длинном, во всю стену, кожаном диване, как век тут жили и валялись. Я сначала еще немного беспокоился, что появится Чечевицын отец, и ему вряд ли понравится, что в его покоях разлегся незнакомый парнишка. Но с каждым глотком все больше и больше делалось по барабану, и скоро в глазах поплыло, стало легко и воздушно, и сам я поплыл, как воздушный шарик, оторвавшись от земли и от всего, что на ней торчало, включая нас с Чечевицей, и был такой кайф, что не найдется подходящих слов, чтоб это описать.

Фамилия Чечевицыного отца была, кажется, Амирханов... то ли Абуханов... или Гафуров... что-то в таком духе... забылось в общем улете.

* * *

В школу на Поварскую я хожу, потому что мне нужно учиться. На Пушкинскую – потому что зарабатывать. Но не из-за одного заработка я хожу туда. Я люблю туда ходить. Мне здорово повезло, что Пушкинская, а не другой район. Я люблю здесь все. Бульвар с деревьями, как река, берега – металлическая оградка, красивые дома с рекламой, бегущие, блестящие огни на казино со слонами, вот где шикарно, обязательно пойду, как только паспорт получу, несовершеннолетних не пускают, я пытался прошмыгнуть, да здоровенный амбал хватил за микитки

и на улицу, а денег к тому время я уж как-нибудь накоплю. Любил балеринку на самом высоком доме направо, если смотреть с Тверской в сторону Красной площади, как она там ножку свою балетную подняла, а сама одна-одинешенька на фоне облаков, но ее почему-то убрали. А больше всего люблю Пушкина, по его имени площадь называется. Мы его проходили, но пока живьем не увидал, то есть как живьем, он чугунный или какой там, а выражения лица и тела такие печальные, что, будь я девчонкой, обязательно заплакал бы, на него глядя. И что ему так печально стоять здесь? Или быть там, где был, пока был живой? Короче, до тех пор пока не увидал, мне было до фонаря. А теперь я смотрю иногда в его чуть наклоненное ко мне с его верхотуры лицо, и всякий раз хочется поговорить с ним, спросить чего-нибудь или сказать. Но он каменный или чугунный, а разве с камнем или чугуном разговаривают? Тут есть какая-то загадка, и чем больше я о ней думаю, тем больше понимаю, что придумать хоть какую отгадку у меня не получится, и от этого мне почти так же печально, как ему.

На Пушкине меня и нашли с проломанным черепом. Не в том месте, где мы бизнесом занимаемся, а подальше, поближе к другому тоже Пушкину, но такому мелкому, где он танцует с мелкой женой под большим медным тазом, то есть куполом, каким накрыт, и за этого мелкого Пушкина мне всегда обидно.

Я мало что помнил. Про где случилось в больнице рассказали. Сказали, повезло, что выкрутился. А я и не выкручивался. Само собой вышло. Топал домой, не в тот вечер, а в другой, с выручкой от бизнеса. Все. Очнулся: больничная койка, башка перевязанная и без выручки. Медицинские работнички сделали большие глаза, мол, в карманах пусто было. Ну, я на них и подумал. Уж после сообразил, что если не грабить, то и башку незачем проламывать.

Ничего себе дела закрутились. Сперва Сонька в больницу попала. Следом я. Как начало цеплять, так и цепляет. Что дальше, интересно, будет. Сонька в 61-й лежала, у метро «Спортивная», а меня в 19-ю привезли, рядом с домом. Соньку я уже забрал к тому времени. А на соседней койке старичок. Скособоченный и сам себе все докладывает, что собирается сделать: киселю попить, пописать пойти, невестке сходить позвонить. Насчет позвонить я уловил и попросил наш номер заодно набрать, Соньке про меня сказать. Старичок велел себе пижаму поправить, сикось-накось подтянул, кивнул и поплюхал. Возвращается, никого, говорит, нету. Как нету, вечер, куда ж она делась. Не звонил, что ли. Еще раз прошу сходить, все равно ему время как проводить. Он опять про штаны себе сказал, чего-то криво там пошебуршил и направился. Опять говорит, никто не отвечает. Я решил выбираться отсюда, сам домой слинять посмотреть. И вдруг старичок этот изможденный ка-ак рявкнет басом: смирно, лежать, доложу врачу, железами к кровати прикуют. Я ж не знаю, делают так в больницах или он пугает, за свои тринадцать с половиной я ни разу не лежал. Не то что я испугался, а неприятно стало, что мной командуют, как в тюрьме или в армии. Терпеть не могу, когда командуют. Хорошо, другой сосед, безносый, то есть в перевязке, а под ней плоско, объяснил: не бери в голову, он у нас из ума выживший, медицинский факт. И карточку протянул: бери, иди звони, там у лифтов автомат, спросишь. Я поплелся к лифтам, немного поводило, но ничего, набрал свой номер, а там молчок. Набрал тетя Тому, и только але успел сказать, как она в трубку закричала:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.